

## ПРАВОСЛАВИЕ И РУССКАЯ КУЛЬТУРА

А. М. Панченко

/Ленинград/

Нижеследующее — краткий очерк проблемы, попытка наметить некоторые узловые ее моменты. Проблема эта — не академическая, но в высшей степени жизненная. Дело не только в том, что православие было и остается мировоззренчески /в меньшей степени поведенчески/ действенным; дело в том, что русская культура и в XX в. обнаружила явную склонность к религиозности, пусть извращенной. И так называемый "научный атеизм" /"научная" вера или "научное" неверие — нон-сенс, как, например, "научная" любовь/, и терминологически более откровенный его предшественник "воинствующий атеизм" — это, вне всякого сомнения, конфессия. Ее идол — "светлое будущее", а восходит она, если опустить некоторые посредствующие звенья, к ереси хилиастов, тысячелетников /Апокалипсис, XX, 1-4/. Между прочим, около 1920 г. эта связь признавалась тогдашними идеологами: в опьянении победой люди проговариваются.

Установка на "светлое будущее" порождает религию силы. Коль скоро до вождя рая на земле рукой подать, то настоящего не жалко, можно крушить и культуру, и природу, и дальних, и ближних, звать Русь к топору, пустить красного петуха, полоснуть ножичком, "кастетом кроиться миру в черепе". Но беда этой конфессии — в том, что она также принадлежит настоящему обреченному на смерть. Сначала гибнут слабые, но скоро вспыхивает междоусобная война сильных, и они сосредоточиваются друг на друге. Поэтому уцелевшие приверженцы других конфессий перешагивают из столетия в столетие.

Что в итоге? В итоге — возвращение, реабилитация, хотя

бы частичная, прежних религий. У них есть хотя бы то преимущество, что они древние. Древность в данном случае равнозначна не дряхлости, а органичности, проверенности, культурной уместности. Таковы "высокие" монотеистические религии, для России — православие. О его судьбах, о его роли в истории русской души и пойдет речь.

О светло светлая и украсно украшена земля Руськая!  
И многими красотами удивлена еси:  
Озера многими удивлена еси,  
Реками и кладязьми месточестными,  
Горами крутыми, холми высокими,  
Дубровами частыми, полями дивными,  
Зверьми разноличными, птицами бесчисленными,  
Города великими, селы дивными,  
Винограды обительными, дома церковными,  
И князьями грозными, бояры честными, вельможами многими.  
Всего еси исполнена, земля Руськая,  
О прававерная вера хрестиянская!

Так в "Слове о погибели Русской земли" поэт прощался после Батыева нашествия с Русью домонгольской. Это поэт народный, не элитарный: он сочинял сказовым стихом и по-русски, а не по-церковнославянски. Но это не только прощание, это и описание русского варианта православия, так сказать, "символ двоеверия".

Его главная черта — отсутствие конфликта между природой и культурой. То, чем Русь "удивлена", ее "дива дивные" — и реченьки, к которым русский человек всегда "привязывает" душу, и обитаемое пространство — города и села. Нет конфликта и между сферой сакральной /"обительными виноградами", т. е. монастырскими садами, "церковными домами", т. е. храмами/ — и сферой мирской и даже языческой /на нее прямо указывают "месточестные", местночтимые источники, которые потом превратились в православные "свя-

тые колодцы"/.

Из этого ясно, что "двоеверие" — не раздвоение, не конфессиональная и культурная шизофрения. Напротив, это равновесная вера, в которой мирно уживаются языческие и христианские элементы. Равновесию веры соответствует радостная ментальность /хотя в реальности, как и всегда, хватало бед и крови, и люди вовсе не жили в тепличных условиях/. Поэтому в национальной памяти домонгольская Русь со временем стала отождествляться с "золотым веком", с эпохой света /"светло светлая"/ и красоты /"украшно украшена"/, с эпохой богатырства. Это легко проверить по фольклору и по визуальным впечатлениям от храмов XI — начала XIII вв., от икон и фресок. Но как обстоит дело с исторической логикой?

Надлежит отметить, что крещение 988 г. не стало для Руси ни трагедией, ни даже драмой, что часто происходит при решительной смене конфессионального и культурного статуса. Причина — в суверенности выбора, так как не князь Владимир зависел от Василия II Македонянина, а, напротив, последний не мог обойтись без русской помощи /см. об этом работы Анджеев Поппэ/. Поэтому никакого миссионерского давления на Киев не было и не могло быть.

Отсюда — русское религиозное "вольномыслие", выразившееся во взаимоприспособлении "письменного закона" и устного обычая. Об этом свидетельствует такой беспристрастный и красноречивый источник, как именослов. Русская церковь почитает свв. Ольгу, а не Елену /крестное имя первой христианки из княжеского дома/, Владимира, а не Василия, Бориса и Глеба, а не Романа и Давида. Эта двоименность сохраняется очень долго /мы помним Ярослава Мудрого, а не Георгия, Владимира, а не Василия Мономаха/ — у рязанских князей вплоть до начала XV в., а в дворянской среде до самой Смуты.

Главное в русском варианте православия — постулат "крещение есть спасение" /об этом писали Н. К. Никольский и

М. Д. Приселков/. Строго говоря, крещение — лишь условие спасения, однако так было. Это весьма оптимистический поступат, имеющий самое прямое отношение к той радостной ментальности, о которой шла речь. Мир прекрасен. И культура, и природа — благое дело Творца. Богопознание проистекает не только из Писания, но также из созерцания, и пределы национальной и личной свободы в почитании и восхвалении Господа довольно широки.

Следствия этой свободы многообразны. На Руси не было своего Юлиана Отступника, т. е. попыток реставрации язычества, а после Батыева нашествия — того явления, которое на славянском Юге получило название "потурченства". Крещение не стало отречением. Русь создала открытый и терпимый вариант православия.

Этот вариант стал терять актуальность во второй половине XIV в., когда совершилась колоссальная /и еще не оцененная по достоинству/ конфессиональная, или идеологическая реформа. Ее символы — Сергей Радонежский, митрополит Киприан, Андрей Рублев, Епифаний Премудрый, — символы и творцы, укоренившие исихию, "умное делание" афонских старцев в великорусских пределах. Реформа затронула все искусство — и, главное, духовные идеалы.

Произошло то, что можно назвать обновлением личной молитвы, личного, а не "соборного" отношения к Богу. Это выразилось в монашеском призвании и в становлении особого, именно русского богословствования — не в спекулятивно-логических, а умозрительно-эстетических формах. Мы не создавали теологических "сумм". У нас не было своего Фомы Аквинского, и "Троица" Андрея Рублева — это высшее из русских богословских достижений.

В истории нет худа без добра и нет добра без худа. Именно с митрополита Киприана начинается церковное "давление" на простецов. Появляются указы, ограничивающие скомотрошество — разумеется, в пользу священства. Унаследованное

от Киевской Руси конфессиональное равновесие /души и плоти, обычая и "закона"/ нарушается. Именно в ту пору идеалом стал человек тотальный, оцерковленный, что создало традицию "воспитания нового человека" — традицию насильственную, неплодотворную, в чем лишний раз пришлось убедиться в XX в.

Однако в удельный период монокультура не имела шансов на всеобщее признание. Например, в абсолютном большинстве епархий митрополии всея Руси совершали крестное знамение двумя перстами, а в псковской епархии — тремя, и эти обрядовые различия целостность православия пока еще не разрушали. Обрядовые поновления Киприана и его преемников особых волнений в обществе не вызвали.

Ситуация решительным образом изменилась, когда удельная Русь стала единым Московским государством, в XVI в. Это век русского одиночества /ибо только Москва и еще Грузия остались свободными православными, т. е. "истинными" державами/, а культурное одиночество никогда не приносило России добра. XX столетие подтвердило это. Одиночество породило самодовольство и гордыню, которые всегда идут рука об руку со страхом и комплексом неполноценности. На исторической сцене появилась новая фигура — фигура православного царя-батюшки.

Первым венчанным царем был Иван Грозный, создатель концепции "царя аки Бога". Он не довольствовался монаршими прерогативами, он узурпировал архипастырские прерогативы. В своем "богоподобии" Грозный ориентировался не на Троицу, а на первое ее лицо, т. е. на Саваофа, Бога карающего и грозного. Произошло "рассечение" Троицы, а такое рассечение — неизбежная гибель. Церковь не сумела противостоять царю, и неизбежно возник глубочайший кризис и "царства", и "священства", воплотившийся в Смуте, когда все воевали против всех, когда казалось, что пришел конец и России, и православию.



Все же нация нашла в себе силы прекратить самоистребление. Надо сказать, что нация не приняла политического богословия Ивана Грозного. В этом смысле весьма показателен русский месяцеслов: в нем сколько угодно святых князей — и ни одного святого царя /хотя нет сомнений, что при Борисе Годунове предполагалась канонизация царя Федора Ивановича, последнего в роде Ивана Калиты/. Таким образом нация выразила духовное недоверие "царю-батюшке".

Кончилась Смута, и началось обновление церкви. В ней хватало здоровых сил, о чем свидетельствует, в частности, героическая миссия Троице-Сергиева монастыря в период польской интервенции. Именно в этом монастыре зародилось движение "ревнителей благочестия". У его истоков стоял архимандрит Дионисий Зобнинский. Оно представлено именами Ивана Неронова, Стефана Вонифатьева, Аввакума и даже Никона /до 1652 г., т. е. до возведения его на патриаршество/. Смысл движения — в социальном христианстве, т. е. опять-таки в тотальном "оцерковленном" человеке. Движение, поддержанное царем Алексеем Михайловичем, имело по видимости большой успех. Казалось, что произошло умиротворение русской души, — но только казалось, потому что уже весной 1653 года обозначился церковный раскол.

Раскол произошел и по социальным причинам /XVII век — век закрепощения, когда низы всякую реформу воспринимают как гнет и посягательство на их права/, и по причинам духовным: часть общества продолжала жить в сфере религиозного сознания. Она и ушла в старообрядчество /от четверти до трети великороссов/. Большинство же стремилось к секуляризованной, мирской культуре. Обмирщалась и церковь. В ней с Никона завелось мажоро-минорное пение, иконопись стала "живописью" с прямой перспективой и т. п. Но церковь теряла авторитет, что отчетливым образом проявилось в эпоху Петровских преобразований.

По слову Ф. М. Достоевского, с Петра русская церковь

пребывает в параличе. Резон в этих словах есть, однако они слишком общи. Петр — вечная русская проблема. Он либо антихрист, либо "бог". Сейчас он снова в центре внимания, и его бранят и "правые", и "левые". Это понятно: сейчас в России скорбят о побежденных и замученных и судят победителей. Достается и Петру, который в череде "победителей" бесспорно первенствует. Это позиция взбунтовавшегося раба: он хоть и взбунтовался, а все раб. Это понятно, но непочтенно. Вообще всякий власть имущий, тем более самодержец, заведомо виноват, если его судить не то что по Нагорной проповеди, а по Десятословию. В этом смысле Петр виноват, но так уж устроено человечество.

Петр действительно, упразднил патриаршество, учредил Синод, сделал себя /и своих преемников на троне/ главой церкви, "Крайним Судией Духовной коллегии". Но лик русской церкви изменился до Петра.

Он получил в наследство самосжигающуюся и разбегающуюся страну /например, в 1686 г., в ответ на указы против "ревнителей древнего обряда", в Палеостровском монастыре сожглось две с половиною тысячи человек/. На церковь Петр рассчитывать не мог — он предпочел установку на цивилизацию. Этой установке была подчинена и церковь, в которой получили власть выученики Киево-Могилянской академии. Но их схоластическое богословие прививалось плохо и церкви не помогло. Недоверие к ней выразилось в знаменитом, печально-памятном указе Петра о нарушении тайны исповеди /надлежало доносить о злоумышлении на особу монарха и вообще о вольнодумстве/. Естественно, что общество отвернулось от церкви, а священнослужители превратились в замкнутое и униженное сословие. Православие, конечно, осталось, но прежде всего в бытовых формах.

Попытаемся представить себе нормального персонажа русской классики. Он предстает перед нами в некоей оболочке религиозного равнодушия. Евгений Онегин на всем протяжении

пушкинского романа в стихах не был в церкви /хотя в жизни человек его круга — то же Пушкин, например, — раз в год, для удостоверения православной своей лояльности, обязан был говеть, исповедаться и причаститься/. Ни один из героев гоголевской "поэмы в прозе" тоже порога храма не переступил, даже лицемерный Чичиков. Значит, он полагал, что благочестие /или ханжество/ для житейских успехов русскому человеку не требуется и в несправедливом стяжании не помогает.

Всякое религиозное беспокойство озадачивало общество. Насмехались над причудами Александра I — над побратимством его с прусским королем у гроба Фридриха Великого, над склонностью царя к мистицизму, дружбой с баронессой Крюднер. Религиозная активность как бы исключала из общего ряда, особенно если ее проявлял дворянин. Чаадаева, выказавшего склонность к католицизму, объявили сумасшедшим. Православнейшего Хомякова высылали из первопрестольной. В этом, конечно, повинна власть, но и свободолюбивые борцы с властью поступали сходным образом: вспомним, как грубо и запальчиво обрушился Белинский на Гоголя, стоило тому обратиться к Богу и выпустить "Выбранные места".

Чего же удивляться, что место духовному сословию, по выражению Чаадаева, нашлось лишь "в лакейских светской власти". Интеллигенция /дворянская прежде всего/ смотрела на него свысока. Это устроение проявилось даже у Достоевского, человека теплой веры, "прилежавшего" церкви. В "Бесах", в главе "У наших", есть характерный отзыв об акушерке /по тогдашнему акушерство — профессия непочтенная/, а в нем — характерная же обмолвка: акушерка не понимала, что здесь она — ниже всех — "ниже даже попадьи" /!/.

Чего же удивляться, что духовенство ощущало себя глубоко обиженным. От обиды до бунта — рукой подать, и не случайно из поповичей вышел поистине легион революционеров и нигилистов — Чернышевский, Добролюбов, Глеб и Николай Успен-



ские /они двоюродные братья/, Антонович, Варфоломей Зайцев и др. Не случайно дворянин Некрасов называл радикальную редакцию "Современника" "своей консисторией".

В общество "консистория" внесла дух семинарской прямолинейности, нетерпимости, убеждение в том, что обладает истиной. Произошла своего рода культурная переакцентуация: с молодых ногтей поповичей учили, что истина одна, что она — в православии. Презрев школьную свою науку, они вовсе не собирались выпускать из рук истину — просто они перенесли ее в сферу социального отрицания. "Кряжевый семинарист" /выражение Аполлона Григорьева/ много потрудился на ниве этого отрицания, засеяв и удобрив ее схоластикой наоборот.

Например, знаменитый четвертый сон Веры Павловны из романа "Что делать?" — это отголосок жанра видений, о котором попович Чернышевский был хорошо осведомлен. В агиографии видения, как правило, имеют место "в тонком сне"; тогда подвижнику нечто открывается, дается некое высшее знание — прежде всего о будущем. Концепция "светлого будущего" основывается, в сущности, на этом дамском сне. Разве можно ему верить, даже если его выдумал представитель сильного пола?

Но ему верили, потому что в максималистском порыве к общественному благу явственно ощущается религиозное одушевление — и в аскетизме, и в утопическом энтузиазме. В семидесятые годы, по воспоминаниям О. В. Аптекмана, молодежь, отправлявшаяся в народ, читала Евангелие и горько рыдала над ним... "Крест и фригийская шапка!".

Наряду с этим процессом, когда церковь поставляла обществу "маргинальных людей", шел и другой процесс: от профессионального богословия, от диссертаций, которые теперь почти никто не читает, отпочковалось богословие полупрофессиональное и непрофессиональное — той линии, которая некогда была начата Андреем Рублевым. Эта линия в XIX в. пред-

ставлена именами Хомякова, Ю. Самарина, Достоевского, Льва Толстого, Владимира Соловьева, именами почтенными и почитаемыми.

В начале нашего столетия, когда часть интеллигенции попробовала "поладить" с церковью, на религиозно-философских собраниях 1901-1903 гг. произошла очная встреча культуры и веры. Здесь поочередно держали речи писатели и пастыри, профессора университетов и профессора духовных академий. Эстетизирующее начало пронизывало эти собрания: Мережковский, например, читал доклады о Гоголе и отце Матвее, о Толстом и Достоевском. Оно пронизывало и религиозную философию эпохи. Напомню, что эпоха породила таких разных, но одинаково замечательных мыслителей, как С. Н. Булгаков, Н. А. Бердяев, Н. Ф. Федоров, П. А. Флоренский...

Сроки пришли, круг замкнулся, разрыв между секуляризованной культурой и русским православием, образовавшийся накануне и в ходе Петровских реформ, казалось, вот-вот будет преодолен. Но было уже поздно. В стране началась новая война. По аналогии с войной Белой и Алой розы ее можно назвать войной между белой и черной костью. Разделение нации на "общество" и "народ", о чем так скорбели русские классики, обернулось взаимным уничтожением. Когда крестьяне, знающие цену труду и вещам, жгли барские усадьбы — не строения они жгли, а чуждую им усадебную культуру.

В войне белой и черной кости победителей не было, были только побежденные — религией "светлого будущего" и силы. Понадобился новый цикл, дабы ее забыть. Быть может, ныне этот цикл закончился.